

Михаил Ковалев

Имперская идея в интеллектуальной культуре русской эмиграции

В августе 1922 г. одно из русских издательств, столь многочисленных в ту пору в Берлине, выпустило в свет новое издание романа Андрея Белого «Петербург». Знаменитая для русского символизма книга была написана всего за несколько недель еще в 1912 – 1913 гг. под впечатлением от недавно пережитой катастрофы русско-японской войны и накануне новых еще более ужасающих бедствий. Действие романа, происходившее в «туманные, странные» дни «ядовитого октября», переносило читателя в мир Петербурга времен Первой русской революции. Истинным героям книги стала имперская столица, в которой величие и творческий гений переплетались с серостью, холодом и бездушием. Андрей Белый нарисовал фантастический, но одновременно чудовищный и страшный мир, который был обречен на скорую гибель. Его Петербург воплощал в себе умирающую красоту империи. Апокалиптические мотивы пронизывали весь текст романа, написанного в раздумьях о грядущей судьбе России и в предчувствии надвигающейся и неотвратимой катастрофы.

«Ваши превосходительства, высокородия, благородия, граждане! Что есть Русская Империя наша?», – спрашивал автор в прологе своей книги.¹ И хотя в 1922 г. уже никакой империи не существовало, заданный вопрос не переставал звучать злободневно и остро. Ответить на него пытались множество российских интеллектуалов, ставших невольными свидетелями ворвавшихся в их жизнь исторических потрясений. Таких потрясений, которые разрушили Российскую империю, и которые бесповоротно изменили их собственные жизни. Имеются в виду русские эмигранты, те, кто покинул свою Родину под воздействием революции и Гражданской войны и кто создал в 1920–1930-е гг. удивительный и парадоксальный мир Зарубежной России. В их интеллектуальной культуре значительное место отводилось осмыслиению причин гибели Российской империи и имперскому феномену вообще.

Следует сделать два важных уточнения. Во-первых, статья не претендует на то, чтобы охватить всё многообразие интеллектуальной культуры русской эмиграции. Структура ее была необычайно сложна, а потому невозможно говорить о всей диаспоре и за всю диаспору, выдавать мнения отдельных деятелей за общую тенденцию. При всем том, выбранные для анализа и осмыслиения примеры ярко демонстрируют специфические черты эмигрантской интеллектуальной культуры. Во-вторых, хронологически статья ограничена 1920–1930 гг., то есть межвоенной эпохой. Именно в этот сравнительно небольшой по историческим меркам период уместилось рож-

¹ Белый А. Петербург: Роман. Берлин, 1922. С. 9.

дение, расцвет и постепенный упадок русской послереволюционной эмиграции. Две мировые войны, пронесшиеся гигантскими волнами по сознанию европейцев, словно отмерили историческое время Зарубежной России. По этой причине в статье не будет затрагиваться интеллектуальное творчество эмиграции после 1945 г., когда картина мира, восприятие прошлого, настоящего и будущего у нее сильно изменяется, а Русский Париж, Берлин или Прага уйдут в историю.

В начале 1920-х гг., когда Европа еще только начала оправляться от войны, многим хотелось во что бы то ни стало забыть недавно пережитые ужасы и при этом не слишком вдумываться в безрадостное настоящее. В августе 1922 г., во время выхода в Берлине книги Андрея Белого, в Москве был оглашен приговор членам эсеровской партии, ставший зловещим предвестием будущих показательных процессов. В октябре того же года Бенито Муссолини совершил марш на Рим. Французы, считавшие себя победителями в войне, беззастенчиво оккупировали Пур. И мало кто обращал тогда внимание на тщедушного, но крикливого бывшего ефрейтора, готовившего первый съезд НСДАП. Послевоенный мир необратимо изменился, а, главное, продолжал стремительно трансформироваться. Осмыслить эти перемены было трудно даже для специалистов.

Одним из последствий катастрофических событий Первой мировой войны стал быстрый распад сразу нескольких империй – Австро-Венгерской, Германской, Османской и Российской. Конечно, с миром империй не было покончено полностью. Они по-прежнему продолжали восприниматься большинством как «локомотив прогресса и цивилизации»², но кризис их уже был четко обозначен. Как заметил немецкий историк Николаус Катцер, произошел распад привычных общественных организаций, разрыв социальных связей. Империи подорвали свой авторитет нетерпимой, насилиственной внутренней и внешней политикой.³ Это отчетливо чувствовали и некоторые русские эмигранты, ощущавшие углубление центробежных процессов в мире.

В 1923 г. в Берлине был опубликован примечательный сборник очерков под названием «Круговорот истории».⁴ Его автором был Роберт Юрьевич Виппер, один из талантливейших ученых своего времени, чья судьба сделала немало причудливых поворотов на виражах истории. Ученик Владимира Герье и Василия Ключевского, он в 1894 г. был удостоен сразу докторской степени за диссертацию «Церковь и государство в Женеве XVI веке в эпоху кальвинизма». Впоследствии преподавал в Одессе и Москве. Революцию Виппер не принял и уехал в Ригу, где до 1941 г. был профессором Латвийского университета. После присоединения Прибалтики к СССР он получил приглашение вернуться в Москву и в 1943 г. был триумфально избран академиком. Поговаривали, что Иосиф Сталин ценил его книгу об Иване Грозном, написанную в 1922 г., а затем трижды переизданную, в которой давалась положительная оценка первого русского царя.

² Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М., 2007. С. 40.

³ Katzer N. Probleme des Ersten Weltkriegs und des Bürgerkriegs in Russland. Mythen und «Zonen» des Verschweigens // Культурная память и мемориальные коммуникации в современных учебниках и учебной литературе: опыт России и Западной Европы [материалы международной конференции]. Саратов, 2012. С. 93–94.

⁴ Виппер Р.Ю. Круговорот истории. Берлин, 1923.

«Круговорот истории» Виппер писал с 1917 г. по 1920 г. и отразил в нем желание понять переживаемые события, «в самих катастрофах думалось увидеть естественные последствия роковых данных, заложенных в предшествующей культуре, которую мы привыкли звать культурой XIX века. Обозревая свои статьи и лекции в целом, автор чувствует, что как бы ни была специальна тема, лежавшая в основе каждой из них, он неизбежно возвращался к критике системы жизни и мировоззрения XIX века».⁵ Виппера пугали натиск неумеренного и неконтролируемого технического прогресса, обернувшегося на практике совершенствованием разрушительного оружия, нагнетание нетерпимости между разными народами, лицемерие правящих кругов, социальная неустроенность, жестокость и воинственность, упадок нравов, идейные противоречия и, как следствие всего этого, закат культуры. История еще не знала примеров «столь быстрого распадения едва сложившейся цивилизации», со страхом и горечью писал ученый.⁶ Виппер отнюдь не был склонен считать причиной кризиса Первую мировую войну. Напротив, сама война была для него лишь «показателем и результатом крушения всей системы европейской жизни», она лишь «обнаружила глухой ужас, клокотавший под спокойной на вид поверхностью Европы».⁷ Если свести авторскую позицию к одному тезису, то Виппер выступал критиком «воинствующего империализма», составными частями которого для него являлись колониальные захваты и индустриализация.

В начале 1920-х гг. русская эмиграция почти в буквальном смысле еще «сидела на чемоданах», пребывание на чужбине казалось ей лишь времененным испытанием. А пока она активно создавала свою интеллектуальную инфраструктуру за границей и бесконечно спорила о будущем России. Первая мировая война, революция, последовавшая за ней братоубийственная Гражданская война подорвали веру в прогресс, заставили задуматься о кризисе всей западной цивилизации. Они привели к переоценке традиционных ценностей, побудили многих еще раз задуматься над «проклятыми» для русских интеллектуалов вопросами об отношениях России и Запада, народа и интеллигенции и, шире, власти и общества. В конце концов многих мучил вопрос: почему Российская империя развалилась, как карточный домик, а страна погрузилась в пучину смуты и власть в ней захватила партия революционных фанатиков? Неужели Российская империя была исторически обречена? Или катастрофы можно было избежать?

В 1922 г. на полках книжных магазинов Европы появился напечатанный в Мюнхене учебник «История России. 862–1917».⁸ Его автором был крупный ученый, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук Евгений Францевич Шмурло. Свой учебник он закончил в марте 1922 г. в Риме, где жил с 1903 г., занимая пост ученого корреспондента Академии наук. За спиной были годы профессорства в Санкт-Петербурге и Дерпте/Юрьеве, плодотворная работа в европейских архивах, публикация заметных научных работ и сборников документов, а, кроме того, революция, которую историк не принял, и которая вынудила

⁵ Там же. С. 5–6.

⁶ Там же. С. 6.

⁷ Там же. С. 17.

⁸ Шмурло Е. Ф. История России: 862–1917. Мюнхен, 1922.

его навсегда оставаться на чужбине.⁹ Есть все основания предполагать, что это был первый учебный нарратив, созданный в эмигрантской среде. Но упомянут он тут не только по данной причине. В контексте описываемой проблемы учебники интересны в связи с практиками мемориальных коммуникаций, то есть передачи исторического опыта, представлений, мифов, в том числе имперского, от старшего поколения к младшему. Внимание в них к имперскому проекту было отнюдь не случайным. Еще в XIX в. начался расцвет национальной истории, конструирование моделей национального прошлого. Концепции истории транслировались в массовое сознание в первую очередь через систему школьного образования и массовую литературу. Учебники превратились в один из жанров «национального романа». Их авторы обосновывали идею особой роли государства в истории России, выступавшего в качестве «главного агента цивилизации».¹⁰

Посему учебники Шмурло примечательны как, пожалуй, никакие другие. Уже вскоре после издания в Мюнхене «Истории России» пражское издательство «Пламя» опубликовало «Введение в русскую историю».¹¹ До конца 1920-х гг. Шмурло упорно работал над обобщающим курсом русской истории, который стал одним из главных его трудов и своеобразным итогом всей его научной деятельности. Три тома выходили в Праге в 1931–1935 гг. литографированным изданием при мизерном тираже в 100 экземпляров.¹² При чтении всех трех работ бросается в глаза следование автора одной из генеральных линий российского «национального романа» XIX в. – повышенному вниманию к исторической роли государства, ярко отражавшего дух создавшего его народа. Для самого Шмурло кажется очевидным, что таким народом являются русские. Русский народ у него, по сути, тождественен России, а остальные исторически находятся на правах «младших братьев». Это особенно парадоксально, ибо сам историк был польско-литовского происхождения. Вслед за Ключевским он считал колонизацию одним из главных элементов русской истории. Причем колонизационное движение было вызвано желанием найти оптимальные естественные границы и обезопасить себя от враждебных соседей. Экспансия на Восток была исторически предопределена, она объяснялась необходимостью защищаться от постоянного натиска «полуварварских племен и степенных кочевников»: «Вечные распри этих азиатов неизбежно втягивали и нас в их дела. Культурная народность не может безучастно смотреть на дрязги и междоусобицы соседних полудиких народов, так как они всегда отзовутся неблагоприятно на его собственном развитии. Путем ли покровительства или завоеваний всегда приходится сдерживать эти силы».¹³ В учебных нарративах Шмурло завоевания описываются как средство к мирному существованию и безопасности. В них не было империалистических устремлений. Экспансия изначально не ставила целью завоевание новых земель. Она лишь выражала желание отбросить врага как можно дальше от собственных гра-

⁹ Ковалев М. В. Евгений Францевич Шмурло: русская итальянстика в эмиграции // Новая и Новейшая история. 2016. № 1. С. 155–172.

¹⁰ Ср.: Копосов Н. Е. Память строгого режима: История и политика в России. М., 2011. С. 33.

¹¹ Шмурло Е. Ф. Введение в русскую историю. Прага, 1924.

¹² Этот труд, как и учебник «История России. 862–1917», был переиздан в постсоветской России: Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. СПб., 1998–1999.

¹³ Шмурло Е. Ф. Введение в русскую историю. С. 131–132.

ниц. России пришлось «вынести двух с половиной вековое монгольское иго, вести 300-летнюю борьбу с крымскими татарами; приходилось вынужденно углубляться в Кавказские горы, в заволжские и зауральские степи, дойти до самого Памира, и все это с единственной целью – оградить мирное население от кочевника, который не мог жить иначе, как разбоем. Мы его отгоняли, отодвигали свою границу, но на новом месте повторялась прежняя история».¹⁴ Движение на Восток воспринималось как поиск естественной природной границы, приведший, в конце концов, к берегам Тихого океана. Россия не вела завоеваний, подобно той же Британии, а лишь «инкорпорировала» азиатские земли. Если не было российского империализма, значит, не было и колоний: «Россия не имела колоний, и сама не была метрополией».¹⁵ В своих учебниках Шмурло непременно подчеркивал позитивные явления, которые несла русская колонизация: «Русский *Drang nach Osten* был победою европейской цивилизации над азиатским Востоком».¹⁶ Для взглядов ученого характерно христоматийное представление об исторической заслуге России, которая заслонила собой Европу от азиатского натиска. Кроме того, Россия принесла присоединенным народам гражданственность, приобщила их к просвещению и христианской культуре. Цивилизаторская миссия в Азии становится в глазах историка одной из главных исторических задач. Россия должна мирным и ненасильственным путем придать Востоку черты европейско-христианской цивилизации. В качестве примера Шмурло приводил завоевание Средней Азии, которое стало финальной точкой в борьбе с азиатским Востоком.

Россия исторически находилась между Европой и Азией, но всегда принадлежала именно к европейской цивилизации. С Востоком же она была связана фатально, вынужденно, навязано. Соседство это носило исключительно отрицательный характер, оно было своего рода историческим роком, трагизмом русской истории. Европейскую идентичность России Шмурло постоянно подчеркивал. Европа выступает у него символом культуры, развития и движения, а Восток воплощает застой и варварство. Таким образом, размышления об империи строились у Шмурло вокруг идеи противостояния Запада и Востока. России в этом противостоянии отводилась своего рода мессианская роль как «передового бойца за Европу против Азии».¹⁷ Утверждение на Востоке, начиная от похода Ермака в Сибирь и заканчивая русско-японской войной, есть историческая необходимость.

Можно, конечно, отнести все эти идеи исключительно на счет автора, воспитанного в имперском консервативном духе. Однако интеллектуальное пространство эмиграции не ограничивалось лишь учебными нарративами Шмурло. И подобные взгляды находили своих сторонников. В середине 1920-х гг. в образовательном пространстве Зарубежной России появились учебники Льва Михайловича Сухотина, который жил и работал в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Он был

¹⁴ Шмурло Е. Ф. История России. С. 5.

¹⁵ Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Т. 1. С. 48.

¹⁶ Шмурло Е. Ф. Введение в русскую историю. С. 138.

¹⁷ Там же. С. 139.

единственным автором, разработавшим всю линию учебников, включая и историю России¹⁸, и историю зарубежных стран¹⁹.

Размышляя о присоединении и освоении новых территорий, особенно азиатских, Сухотин, как и Шмурло, делал упор на «некультурности» коренного населения. Между тем он отнюдь не склонен замалчивать факты многочисленных национальных восстаний и их жестокого подавления, например восстания башкир при Петре Великом или казацких волнений. Но в то же время их жесткое подавление объясняется государственной необходимостью. Например, разорение города Батурина Александром Меншиковым в 1708 г. оправдывается предательством Ивана Мазепы.²⁰

Сухотин позитивно оценивал имперскую политику на Кавказе и Средней Азии. Он не слишком глубоко вдавался в причины экспансии России в этих регионах, а лишь повторял расхожее мнение современников о необходимости обезопасить границы от набегов воинственных горцев или «беспокойных киргизов». Поэтому он высоко оценивал, например, жесткие действия Александра Барятинского и Николая Евдокимова на Северном Кавказе. Проводимое ими выселение горцев Сухотин считал необходимой мерой: «Для замирения края горное племя черкесов выселяли из их горных аулов в равнину северного Кавказа; но очень многие из них (до 200 тысяч) предпочли выселиться в турецкие пределы».²¹

При этом, разумеется, не говорилось о колоссальных жертвах среди мирного населения. Зато автор делал акцент на то, что переселившиеся черкесы влились в отряды башибузуков и зверски подавляли Апрельское восстание в Болгарии в 1876 г. Высокую оценку мы видим и применительно к покорителям Средней Азии, особенно по отношению к Михаилу Скобелеву. Одной из главных боевых заслуг генерала Сухотин называл умелое взятие Геок-Тепе в 1881 г. и покорение воинственных текинцев. О жертвах речь, конечно, не ведется, ибо внешнеполитическая цель оправдывала любые средства.

Ведь, с точки зрения Сухотина, присоединение и Средней Азии, и Кавказа сопровождалось распространением культуры и развитием экономики. Таким образом, цивилизаторское начало выводилось у него на первый план. Итак, в учебных нарративах Сухотина, как и Шмурло, большое место отводится имперской экспансии, рассматриваемой в качестве исторической миссии по борьбе с азиатскими началами, ее идеологическому и практическому обоснованию. Однако были ли эти представления общепринятыми? Или же в эмигрантской среде имели место попытки построения имперского нарратива на совершенно иной идеологической основе?

В 1920 г. молодой русский лингвист князь Николай Сергеевич Трубецкой издал в Софии небольшую по объему, но амбициозную по проблематике книгу «Европа

¹⁸ Сухотин Л. М. Учебник русской истории: Младший курс. Ч. I. Новый Сад, 1926; Ч. II. Белград, 1927.

¹⁹ Сухотин Л. М. История Древнего Мира: Учебное руководство для средней школы. Белград, 1925; Сухотин Л. М. История Средних веков: Учебное руководство для средней школы. Белград, 1929; Сухотин Л. М. История Нового времени: Учебное руководство для средней школы. Белград, 1931.

²⁰ Сухотин Л. М. Учебник русской истории. Ч. II. С. 55.

²¹ Там же. С. 118.

и человечество», которая тут же наделала много шума в эмигрантской среде. Она явно подкупала читателей злободневностью поставленных вопросов и оригинальностью ответов на них. Работа Трубецкого стояла в ряду других многочисленных попыток европейских интеллектуалов понять изменившуюся под влиянием войны действительность. Содержание книги строилось вокруг осмыслиения роли Запада во всемирно-историческом процессе. Она послужила идейным фундаментом для нарождавшегося евразийства, одного из самых известных и одновременно противоречивых идейных течений в эмигрантской среде, а сам князь стал одним из его духовных вождей. В данной статье евразийская идеология специально не рассматривается. В ракурсе избранной темы в большей степени интересен вопрос империй и колониализма во взглядах Трубецкого и людей его круга.

Важно заметить, что одним из побудительных мотивов для написания «Европы и человечества» послужили авторские размышления над феноменом национализма. Он интересовал Трубецкого как этнолога и лингвиста, но была тут и личностная подоплека. Перед самой эмиграцией, находясь в Закавказье, князь стал свидетелем безжалостных межэтнических столкновений армянских дашиакцутюновцев и азербайджанских мусаватистов.²² Он хорошо знал, что и на других окраинах рухнувшей империи обострились конфликты на национальной почве. Они пугали его и одновременно усиливали интерес к проблемам наций и национализма. Кроме того, в Европе, охваченной процессом создания новых государств на осколках вчерашних империй, князь мог воочию наблюдать проявления политического национализма и агрессивного обоснования своей идентичности. Эти явления Трубецкой также не принимал и резко критиковал. Поэтому в своей книге он четко давал понять, что не принимает европейской модерности и одну из ее главных форм – национальное государство.²³ Он считал его естественным лишь для романо-германского мира. Но только не для России, которая являла для него пример многонациональной империи. Таким образом, размышления о соотношении национального и имперского пронизывали текст книги.

Идейным стержнем повествования стала критика современной европейской цивилизации и, вместе с тем, обоснование особого пути неевропейских народов, к которым князь отнес и народы России. Трубецкой и его последователи отрицали не просто западные ценности, но и саму теорию универсального прогресса. В их глазах она служила мерилом отсталости неевропейских народов и была связана с практиками колониального господства.²⁴ «Бремя белого человека» служило лишь оправданием присущей Западу агрессивности. По этой причине европейский колониализм вызывал резкое неприятие князя Трубецкого.

Но как тогда объяснить экспансию России, ее давние территориальные прращения в Сибири, Прибалтике, Польше и недавние на Кавказе и в Средней Азии? Была ли Россия, с точки зрения евразийцев, колониальной империей? Они отве-

²² Глебов С. Евразийство между империей и модерном: История в документах. М., 2010. С. 28; Антощенко А. В. «Евразия» или «Святая Русь»?: (Российские эмигранты в поисках самосознания на путях истории). Петрозаводск, 2003. С. 113–114.

²³ Глебов С. Евразийство между империей и модерном. С. 29.

²⁴ Там же. С. 80.

чали на вопрос прямолинейно: империей была, а вот колоний не имела. Движение на Восток евразийцы считали одним из ключевых и закономерных процессов российской истории. В их понимании Российская империя была основана не на подчинении, не на противопоставлении Запада Востоку, а на синтезе культур. При этом евразийцы отрицательно относились к российской экспансии, выходившей за пределы естественных границ, и к тем мерам, которыми она осуществлялась (русификация Польши и империализм на Дальнем Востоке). В идеологии евразийства имперский и антиколониальный пафос парадоксальным образом соединялись воедино. России евразийцы отводили место лидера «неевропейских» народов, которых родил между собой общий антагонизм с Европой.

Князь Трубецкой в своей книге остро критиковал российский европеизм; он полагал, что модерные практики породили ориенталистскую дистанцию между русскими и нерусскими, и эта дистанция начала угрожать единству империи, обострила межэтнические отношения. Трубецкой был критиком русского национализма и противником выделения этнографической России. В этой связи следует отметить также негативное отношение евразийцев к белорусскому, а особенно украинскому национализму. Трубецкой и его соратники делали ставку на неделимость евразийского пространства, для которого имперскую форму политического устройства считали естественной и оптимальной, на критику национализма, империализма и колониализма.

Сергей Глебов верно заметил, что для евразийцев критика европейского колониализма, как ни странно, была «методом конструирования имперского пространства». Они хотели «спасти империю путем ее отрицания».²⁵ Они стремились включить азиатские народы в единое евразийское пространство. С этим стремлением была связана идея князя Трубецкого о Российской империи как «наследии Чингисхана», мысли Петра Савицкого о преемственности власти между Ордой и Москвой. Так, для Георгия Владимировича Вернадского история Евразии представлялась как последовательный ряд попыток по созданию единого государства, которое объединило бы все евразийские территории. Этот процесс был ритмичным и периодическим. Таким образом, Вернадский считал закономерными проявления центробежных и центростремительных сил в истории Евразии. Логикой своей схемы он предвидел распад СССР. Но в то же время, исходя из нее, предполагал неизбежным образование нового евразийского государства.²⁶

Евразийцы, как известно, имели в эмигрантской среде и за ее пределами множество критиков. Однако порой, как ни парадоксально, их голоса сливались в едином хоре. Примером тут служит публицистика Павла Павловича Муратова, который поныне известен, прежде всего, как блестящий искусствовед, автор знаменитых «Образов Италии». Он был большим знатоком и тонким ценителем европейской культуры, но при этом всегда оставался русским патриотом. Любовь к итальянскому Возрождению сочеталась в нем с искренней привязанностью к древнерусской иконописи.

²⁵ Там же. С. 83.

²⁶ См. подробнее: *Вернадский Г. В. Начертание русской истории*. СПб., 2000. С. 32; *Ковалев М. В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920–1940 гг.)*. Саратов, 2012. С. 252.

Ему был явно чужд антizападнический пафос евразийцев, но при этом и казенный патриотизм в духе Константина Победоносцева или «Союза русского народа».

В 1922 г. Муратов был выслан из Советской России. Некоторое время жил в Германии, затем – в любимой Италии, пока, наконец, в 1927 г. не осел в Париже. В эмиграции он продолжал занятия историей искусств. Одновременно получил известность как яркий публицист, чьи очерки на страницах консервативной парижской газеты «Возрождение» очень ценил Иван Бунин. Имперской теме в них было отведено важное место.

Муратов сетовал, что русская интеллигенция подвергла понятие «империя» необоснованному и бездумному остракизму: «Интеллигенция русская создала целые списки запретных слов – запретных, ибо заранее и навсегда осужденных. Быть заподозренным в сочувствии тому, что обозначалось этими словами, считалось тяжким интеллигентским грехом. Вам говорили, например: “Вы – империалист”. Все кончено, попробуйте-ка “оправдаться”»!²⁷

Для самого Муратова имперская идея казалось обоснованной всем историческим путем России. Он считал, что она представляла собой «величайшую и изумительнейшую» из всех империй после Древнего Рима.²⁸ «Империалистическая идея остается жива, пока остается жива идея России. Ибо Россия – это Империя», – заключал Муратов.²⁹ Имперский дух был воплощен для него не в экспансии и не в колониальной эксплуатации, а, прежде всего, в культуре: «Российские богатства – это не только пшеница, лес, уголь и нефть, но это и российская культура, одухотворившая материальное тело великой разнородной Империи и заставившая “россиянина” – еврея, украинца, армянина, грузина, татарина, финна – считать себя русским».³⁰ Мерилом «всероссийского самоощущения» для Муратова выступал Александр Пушкин: «В жизни его и в поэзии не случайны были не только Петербург и Москва, Михайловское и Болдино, но и Кишинев, Одесса, Крым и Тифлис. И его проза – это не только петербургская повесть “Пиковая дама”, но и “колониальный” роман “Капитанская дочка”, увлекший его воображение к пределам Империи – в киргизскую степь, на берега Яика».³¹

Любая империя всегда более открыта чужому влиянию, нежели этнически однородное в своих границах государство. Подлинный, органичный синтез культур был возможен лишь при имперской форме политического устройства. Таким образом, Муратов, как и евразийцы, отрицательно относился и к буржуазному империализму, и к национальному государству. Национализм в его взглядах уподоблялся провинциализму, узости и косности. Поэтому он был критические настроен к царствованию Александра III, когда имперская идея начала ослабевать, постепенно уступая дорогу «племенному русскому национализму». Проводимая политика ознаменовала собой, в конечном счете, застой в культуре, когда русской литературе «грозила участь ума-

²⁷ Муратов П. П. Запретные слова // Муратов П. П. Ночные мысли: Эссе, очерки, статьи: 1923–1934. М., 2000. С. 174.

²⁸ Там же. С. 175.

²⁹ Там же.

³⁰ Там же. С. 177.

³¹ Муратов П. П. Империализм и национализм // Там же. С. 181.

литься до размеров Гаршина», и когда русская интеллигенция «опровинциалилась», утратила имперский масштаб.³²

Национальное, замкнутое в себе государство, по мнению Муратова, не способно на духовные свершения. Он критиковал большевиков, которые поощряли «самоопределение» народов, заигрывали с национальными движениями, а на практике разрушали единое культурное пространство. В то же время Муратов с опаской смотрел в будущее, полагая, что «смена советского государства рядом национально-этнических государств (включающих и русское государство) означала бы окончательную гибель России, означала бы гибель того, что было всего дороже в России, – ее имперской культуры, ее мирового духа».³³ При всем пафосе Муратова ему все же нельзя отказать в проницательности. Так, он усмотрел зарождение имперских амбиций США, увидел закат Французской и Британской колониальных империй. Как и евразийцы, Муратов выступал последовательным критиком колониализма и национализма в их европейском понимании.

Имперский период оценивался как время упущенных, нереализованных возможностей: постоянные метания от реформ к реакции, слишком долгое отсутствие гражданских свобод, запоздалое введение парламентаризма. Но при этом сам исторический путь России отнюдь не считался тупиковым, имперский проект оценивался положительно, независимо от взглядов конкретного эмигрантского деятеля. Впрочем, это явление легко объяснить, ибо еще до революции русские экспансионисты «формировали конкурирующие философии, каждая из которых представляла определенный взгляд на судьбу России как империи».³⁴ Николай Рязановский справедливо подчеркивал, что империалистические настроения широко распространялись в России в период между Крымской войной и 1917 г. Они идейно подпитывались колонизацией Средней Азии, строительством Транссибирской магистрали, активными действиями на Дальнем Востоке и в Персии и проникли в умы интеллектуалов. Причем эти взгляды довольно легко смыкались с реакционными и либеральными, западническими и антизападническими воззрениями.³⁵ Вспомним тут Павла Николаевича Милюкова, одну из ключевых фигур российского демократического движения, который так отреагировал на начало советско-финской войны: «Мне жаль финнов, но я – за Выборгскую губернию».³⁶ Поэтому нет оснований удивляться трансляции (и трансформации) имперской идей в эмигрантскую среду.

Изгнание усиливало желание подчеркнуть некую историческую специфику России. Эмигранты отрицали колониальный характер Российской империи, однако приветствовали ее продвижение на Восток. Они критиковали эксплуататорские устремления европейцев, но не замечали национальные противоречия в своей стране. В итоге все они вставали «на защиту Российской империи в эпоху, когда

³² Там же. С. 182.

³³ Муратов П. П. Запретные слова. С. 179.

³⁴ Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Идеологии империи в России имперского периода // Ab Imperio. 2001. № 1–2. С. 215.

³⁵ Рязановский Н. В. Азия глазами русских // В раздумьях о России (XIX век) / Е. Л. Рудницкая (сост.). М., 1996. С. 403.

³⁶ Вакар Н. П. П. Н. Милюков в изгнании // Новый журнал. 1943. Кн. 6. С. 375.

империи начинали разваливаться».³⁷ В эмигрантской интеллектуальной культуре присутствовал во многом идеализированный образ Российской империи, несмотря на то, что значительная часть эмигрантских деятелей до революции находилась в оппозиции к царизму. Он тесно переплетался с мессианскими представлениями, уходящими корнями в глубину веков. Эмигранты стремились найти в прошлом идеальные объекты, особые «места памяти». Российская империя с ее могуществом и блеском хорошо подходила для этих целей.

Примечание автора: Статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, проект МК-4739.2016.6 «Российская научная эмиграция в Чехословакии в 1920–1940-е годы (по материалам зарубежных архивов)» и гранта Российского научного фонда, проект 15-18-00135 «Индивид, этнос, религия в процессе межкультурного взаимодействия: российский и мировой опыт формирования общегражданской идентичности».

³⁷ Рязановский Н. В. Азия глазами русских. С. 317.